

Мариэтта Чудакова

В ЭТОМ ГОДУ ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ СО ДНЯ СМЕРТИ АРКАДИЯ БЕЛИНКОВА.
29 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ЕГО РОЖДЕНИЯ

«Так ярый ток, оледенев...»



Аркадий Белинков.

носит практический характер. Аркадий поясняет, что даже неудача с книгой будет означать «только то, что я или немного поспешил, или немного пересборил. Если что-нибудь случится, то я не повешусь и не перестану писать дальше. Я переделаю (не очень) книгу и подожду (немного). Я живу с твердым литературоведческим и физиологическим убеждением, что пришло время решительных, резких, недовольных и остро профессиональных книг» (там же). Дело было именно в это — оказавшейся в то время уникальной — уверенности в том, «пришло время» резких книг, именно резко, а не частично, не половинчато отличающихся и от недавнего, и от складывающегося контекста. Он был одним из первых лагерников, кто захотел не имитировать, не слиться с фоном «вольняшек» (то, что называлось «вернуться в строй»), а выбиться из этого фона, не забыть о том, что с ним произошло, а превратить все происшедшее в фундамент своей литературной позиции.

Через несколько лет Солженицын, сливший свою судьбу со своим творчеством, заставил забыть об этом характерном для литераторов второй половины 50-х стремлении отделиться

от своего лагерного опыта. Аркадий Белинков был, пожалуй, первым, кто стал навязывать отечественной печати новую авторскую позицию — не на лагерном материале, но с дерзостью освободившегося эзика.

Он, во-первых, почувствовал, а во-вторых, взялся выполнить заказ времени на обновление языка литературоведения. Десятилетием раньше один из тех немногих, по книгам которых Белинков учился писать о литературе, Б.М.Эйхенбаум, свидетельствовал в своем дневнике: «Думаю, что надо пока оставить помыслы о научной книге. Этого языка нет — и ничего не сделаешь. Язык — дело не индивидуальное. Литературоведческого языка нет, потому что научной мысли в этой области нет — она прекратила течение свое (...) Могу сейчас заняться только идейной биографией (Толстого. — М.Ч.) — и то в свободной, почти художественной форме» (9 декабря 1949 г.); «У меня, очевидно, своего рода травма; научный стиль и жанр стали мне противны. Я перехожу к другому — похоже на то, как поступил Ю.Н. [Тынянов] в конце 20-х годов: «Смерть Вазир-Мухтара» вместо научной книги о Грибоедове. Поверх доказательств» (27 декабря 1949 г.). Это отношение к научному стилю и жанру продлилось на несколько лет, и Белинков как бы переймет его из рук предшественника — и начнет искать новый, иной язык литературы о литературе, и обратится от чисто литературоведческих задач к описанию писательского дела в его сложном соотношении с личностью писателя. В сущности, он займется той самой «идейной биографией», на которую укажет почти за десятилетие до начала его работы над «Тыняновым» Эйхенбаум как на единственно возможный в сложившихся условиях жанр. Строить язык литературоведения как науки было гораздо более опасно — здесь вступали в силу квазиметодологические ограничения: вступающий в эту область сразу претендовал на конкуренцию с «марксистским литературоведением», на подкоп под него. Область гуманитарной науки была заповедной зоной

— вход в нее охранялся, там должна была консервироваться пустота.

Б.Эйхенбаум успел очень восприимчиво прореагировать на изменение воздуха социума; уже через несколько месяцев после смерти Сталина, 18 июня 1953 года, он запишет в дневнике: «Заметил, что стал несколько легче писать». По своим возможностям он был, пожалуй, единственным из старшего поколения отечественных литературоведов (тех, кто начинал в 20-е годы новую филологию, которой суждено было стимулировать всю мировую гуманитарную мысль), кто был способен деятельно участвовать в создании нового языка — с вполне законной реанимацией того, что было погублено к началу 30-х. Но жизненно-го времени не хватило. Эйхенбаум умер в конце того самого 1959 года, в начале которого Белинков заявил, что именно в этом году «можно писать книги, которые стоят того, чтобы их писать». Он первым из нового поколения сделает широкий шаг в сторону обновления «литературоведческого языка» — хотя, повторим, не в строго научном, а в ином, им же самим и конструируемом жанре.

Впечатление от книги Белинкова «Юрий Тынянов» (подписана к печати 7 октября 1960 г. — таяние снегов еще идет довольно бурно) было огромным. Обращусь к свидетельству современника: «Книга вызвала не только восторги, но и, несомненно, завистливость. Оказывается, научную книгу можно было написать не обычным волапюком, а живым (...) языком» («Русская мысль», 6 ноября 1992 г., №3953). Мотив зависти, продиктованной вот этой неузнанностью ситуации, ее действительных возможностей (как будто они могли быть постигнуты иным путем, кроме как экспериментом на самом себе (!), как будто ситуация не деформировалась, поддаваясь давлению, — такому, образцу которого и дал Белинков!), как видим, совпадает с психологическим наблюдением только приступающей к собственной историко-литературной работе современницы в процитированной в начале этого текста дневниковой записи 1964 года.

К творческим биографиям стали обращаться в те годы пишущие о литературе, чтобы сделать что-то живое (это сохранится надолго — книги серии ЖЗЛ будут опережать не только историческую науку, но в какой-то степени и историко-литературную). Взять на себя единолично задачу преодоления мертвого языка советского литературоведения было почти никому не под силу — до поры до времени. В конце 50-х, во всяком случае, эта пора и это время еще не наступили.

Москва

«Русская мысль»

Несколько строк из дневника — 16 октября 1964 года, сразу после вечера, посвященного 70-летию Тынянова, в Большом зале ЦДЛ, под председательством Шкловского:

«Шкловский:

— Я прошу сказать — здесь ли находится автор единственной книги о Тынянове Белинков?

И тонкий звучный голос раздался:

— Да, здесь.

И Белинков прошел в президиум.

В это время не у одного лишь N, наверно, снуло где-то в желудке, не один лишь он смутно о чем-то пожалел».

Помню, что называется, как сейчас, как черноволосый бледный человек, похожий издали на Грибоедова, пошел из задних рядов по длинному проходу, устланному ковром, к сцене, со слегка откинутой назад головой, нескрываемо-горделиво. И весь зал, вывернув головы, смотрел, как он идет. Это было зрелище реальной, не дудой, заслуженной славы, которая должна была неизбежно вызвать у многих его собратьев по перу чувство зависти — не к славе вообще, а к славе не официальной, подлинной, возможной и для кого-то из сидящих в зале, но не угаданной ими, малодушно упущенной из рук.

Кто сидел на вечере памяти Тынянова? Конечно же, прогрессивная, как принято было говорить, часть Союза писателей, в той или иной степени — люди оттепели. И никто, в сущности, из пишущих о литературе (о драматургах или поэтах — речь иная) не сделал такого прорыва, как Белинков, никто не сумел выжать все возможное из ситуации, просуществовавшей всего несколько лет. А теперь они чувствовали, что уже — опоздано. С конца 1962 года начало подмораживать, а в тот день, когда я впервые увидела Белинкова, мы узнали из газет, что кончилось хрущевское десятилетие, и будущее стало неясным.

Его литературное становление пришлось на начало 40-х годов. Именно в эти годы отечественная литература внутренне приблизилась к рубежу нового цикла. Ожидание обновления обострилось в годы войны — особенно в переломном 1943-м. «Перед восходом солнца» Мих.Зощенко, поэма «Зарево» Пастернака — обе эти вещи, совершенно необычные для тогдашнего литературного контекста, появились в печати и были остановлены; Пастернаку даже отсоветовали продолжать поэму.

Но стимул первой, не состоявшейся оттепели — или «зарева» 1943 года, не ставшего заревом рассвета, — не исчез бесследно, он формировал сознание тех, кому суждено было стать реаль-

ными участниками реальной оттепели.

В 1944 году Белинков — студент Литинститута — получил восемь лет лагерей. В 1956 году, вернувшись в Москву, в течение нескольких месяцев закончил Литературный институт и начал писать книгу о Тынянове.

22 октября 1958 года он напишет на Колыму, что более всего благодарен людям, тепло его встретившим после возвращения, за то, что они его «методически пилили, точили, сверлили (...), убеждая в необходимости писать не только в стол». (Цит. по: Генрих Горчаков. «Век-Волкодав» и Аркадий Белинков. — «Русская мысль», 20 ноября 1992, №3955.)

Возможности ситуации в нашей стране всегда (или, точнее, начиная с 1956 года — с наступлением времени, названного А.Ахматовой «вегетарианским») можно было проверить только на ощупь, собственными руками.

Устами неведомых нам добрых советчиков говорила сама телеология времени. С 1953 года, спустя десятилетие после рано погасшего «зарева» 1943 года, поднималась вторая волна обновления.

Снова делалась попытка объединить два потока отечественной словесности — публикуемый и непубликуемый, — вывести на поверхность печатной жизни замыслы, подобные тем, воплощению которых с середины 1920-х годов суждена была участь «Собачьего сердца» или «Реквиема»: существование в памяти немногих слушателей или в рукописном виде в ящике письменного стола автора, откуда, правда, рукописи частично перекочевывали на полки НКВД.

Новый напор середины 50-х породил литературу оттепели.

Белинков не только чувствовал телеологию времени, но вполне отчетливо и прагматически ее осознавал. Об этом свидетельствует его письмо к тому же корреспонденту — из Москвы на Колыму — в январе 1959 года: «В 1959 можно писать книги, которые стоят того, чтобы их писать» (Г.Горчаков. Письма Аркадия Белинкова. — «Русская мысль», 27 ноября 1992 г., №3956.). Это — четкое и, главное, совершенно точное определение времени. Анализ общественной ситуации